АВТОБИОГРАФИЯ

Автобиографии писать трудно. Особенно для книги. Потому что здесь биография всегда выглядит, как подведение каких-то итогов. И всегда представляешь себе этакого умудренного опытом, седовласого старца, который хочет на своем примере учить других.

Говорю заранее: то, что я пишу — ни в коем случае не подведение итогов. И я не умудрен жизненным опытом. Даже как-то наоборот. Каждый новый день удивителен и неповторим. И самое главное, самое важное, что к этой удивительности нельзя привыкнуть.

И потом биография любого человека всегда связана с биографией страны. Связана необычно прочно. И порой бывает очень трудно выделить что-то сугубо личное, свое, неповторимое.

Автобиографию писать трудно еще и потому, что вся она (или почти вся) в стихах. Плохо ли, хорошо ли, но поэт всегда говорит в стихах о себе, о своих мыслях, о своих чувствах. Даже когда он пишет о космосе.

Итак, автобиографию писать трудно, Так что, возможно, у меня ничего и не выйдет. Но... рискну.

Я родился в 1932 году в селе Косиха Алтайского края. Это в Сибири, довольно близко от Барнаула. Мать у меня — врач, отец — военный. Мы переехали в Омск — большой город на берегу Иртыша. С этим городом связаны мои самые первые детские впечатления. Их довольно много. Но самое большое — война. Я уже кончил первый класс школы и в июне сорок первого жил в пионерском лагере под Омском.

Отец и мать ушли на фронт. Даже профессиональные военные были убеждены, что «это» скоро кончится. А что касается нас, мальчишек, так мы были просто в этом уверены. Во всяком случае, я написал тогда стихи, в которых, помню, последними словами ругал фашистов и давал самую торжественную клятву поскорее вырасти. Стихи были неожиданно

напечатаны в областной газете (их туда отвез наш воспитатель). Свой первый гонорар (что-то около тринадцати рублей) я торжественно принес первого сентября в школу и отдал в фонд Обороны. (Наверное, это тоже повлияло на благоприятный исход войны.) Клятву насчет вырасти было выполнить довольно сложно. Вырасталось медленно. Медленнее, чем хотелось. Война затягивалась. Да и росла она вместе с нами. Для нас, пацанов, она была в ежедневных сводках по радио, в ожидании писем с фронта, в лепешках из жмыха, в цветочных клумбах на площади, раскопанных под картошку.

А потом — уже в конце — она была еще и в детских домах, где тысячи таких, как я, ждали возвращения родителей. Мои — вернулись. Точнее — взяли меня к себе.

Были бесчисленные переезды с отцом по местам его службы. Менялись города, менялись люди вокруг, менялись школы, в которых я учился. Стихи писал все это время. Никуда не посылал. Боялся. Но тем не менее читал их на школьных вечерах к умилению преподавателей литературы. Узнал, что в Москве существует

Литературный институт, мечтал о нем, выучил наизусть правила приема. После школы собрал документы, пачку стихов и отослал все это в Москву.

Отказали. Причина: «творческая несостоятельность». (Между прочим, правильно сделали. Недавно я смог посмотреть эти стихи в архивах Литинститута. Ужас! Тихий ужас!)

Решил махнуть рукой на поэзию. Поступил учиться в университет города Петрозаводска. Почти с головой ушел в спорт. «Достукался» до первых разрядов по волейболу и баскетболу. Ездил на всяческие соревнования, полностью ощутил азарт и накал спортивной борьбы. Это мне нравилось. И казалось, что все идет прекрасно, но... Махнуть рукой на стихи не удалось.

Со второй попытки в Литературный институт я поступил. И пять лет проучился в нем. Говорят, что студенческая пора — самая счастливая пора в жизни человека. Во всяком случае, время, проведенное в институте, никогда не забудется. Не забудется дружба тех лет. Лекции, семинары. И поездки. Снова — очень

много поездок. Так, например, мне посчастливилось побывать на Северном полюсе, на одной из наших дрейфующих станций.

С какими парнями я познакомился там! Без всякого преувеличения — первоклассные ребята! В основном — молодые, умные, очень веселые. Работа зимовщиков трудна и опасна, а эти — после работы вваливались в палатки, и оттуда еще долго шел такой громыхающий смех, что случайные белые медведи, которые подходили к лагерю, безусловно шарахались в сторону.

Станция состояла из девяти домиков. Стояли они на льдине, образуя улицу — четыре с одной стороны, пять — с другой. Я помню общее собрание полярников, — очень бурное и длинное: на нем самой северной улице в мире давалось имя. Можете представить, что это было за собрание! Хохотали до слез, до хрипоты, до спазмов. Хохотали не переставая. Юмор проснулся даже в самых сдержанных и суровых «полярных волках».

Какой-то остряк летчик привез из Москвы номера, которые вешаются на домах в столице. Потом авиационный штурман с помощью

каких-то хитрых приборов точно определял, какая сторона улицы является четной, а какая — нечетной. Номера были торжественно прибиты к домикам, и на каждом из них мы написали название улицы: «Дрейфующий проспект». Так я и назвал одну из своих книжек. Их у меня вышло десять начиная с 1955 года. Я писал стихи и поэмы. Одна из поэм — «Реквием» — особенно дорога мне.

Дело в том, что на моем письменном столе давно уже лежит старая фотография. На ней изображены шесть очень молодых, красивых улыбающихся парней. Это шесть братьев моей матери. В 1941 году самому младшему из них было 18 лет, самому старшему — 29. Все они в том же самом сорок первом ушли на фронт. Шестеро. А с фронта вернулся один. Я не помню, как эти ребята выглядели в жизни. Сейчас я уже старше любого из них. Кем бы они стали? Инженерами? Моряками? Поэтами? Не знаю. Они успели только стать солдатами. И погибнуть.

Примерно такое же положение в каждой советской семье. Дело не в количестве. Потому что нет таких весов, на которых можно было

бы взвесить горе матерей. Взвесить и определить, — чье тяжелее.

Я писал свой «Реквием» и для этих шестерых, которые до сих пор глядят на меня с фотографии. Писал и чувствовал свой долг перед ними. И еще что-то: может быть, вину. Хотя, конечно, виноваты мы только в том, что поздно родились и не успели участвовать в войне. А значит, должны жить. Должны. За себя и за них.

Вот, собственно, и вся биография. По-прежнему пишу стихи. По-прежнему много езжу. И по нашей стране, и за рубежом.

Могут спросить: а для чего поездки? Зачем они поэту? Не лучше ли, как говорится, «ежедневно отправляться в путешествие внутри себя»? Что ж, такие «внутренние поездки» должны происходить и происходят постоянно. Но все ж таки, по-моему, их лучше совмещать с поездками во времени и пространстве.

Относительно годов, которые «к суровой прозе клонят». Пока не клонят. Что будет дальше — бог его знает. Хотя и бог не знает. Поскольку его нет.

Я женат. Жена, Алла Киреева, вместе со мной окончила Литературный институт. По

профессии она — критик. (Так что вы можете представить, как мне достается! Вдвойне!)

Что еще? А еще очень хочу написать настоящие стихи. Главные. Те, о которых думаю все время. Я постараюсь их написать. Если не смогу, — будет очень обидно.

— Роберт Рождественский, 1980-е

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Я родился —
нескладным и длинным —
в одну из душных ночей.
Грибные июньские ливни
звенели,
как связки ключей.
Приоткрыли огромный мир они,
зайчиками прошлись по стене...
«Ребенок
удивительно смирный...» —
врач сказал обо мне.
...А соседка достала карты,
и они сообщили,
что
буду я не слишком богатым,
но очень спокойным зато.
Не пойду ни в какие бури,
неудачи
смогу обойти

и что дальних дорог
не будет
на моем пути.

Что судьбою,
мне богом данной
(на ладони вся жизнь моя!),
познакомлюсь
с бубновой дамой,
такой же смирной,
как я...
Было дождливо и рано.
Жить сто лет
кукушка звала...
Но глупые карты врали!
А за ними соседка
врала!
Наврала она про дорогу,
наврала она про покой...
Карты врали!..
И слава богу,
слава людям,
что я не такой!
Что по жилам бунтует сила,
недовольство собой храня!
Слава жизни!

Большое спасибо
ей
за то, что мяла меня!
Наделила мечтой богатой,
опалила ветром сквозным,
не поверила
бабьим картам,
а поверила
ливням грибным!

СЫН ВЕРЫ

Ю. Могилевскому

Я —
сын Веры...
Я давно не писал тебе писем,
Вера Павловна.

Унесли меня ветры,
напевали мне ветры
то нахально,
то грозно,
то жалобно.

Я — сын Веры.
О, как помогла ты мне, мама!
Мама Вера...
Ты меня на вокзалах пустых обнимала,
Мама Вера.
Я —
сын Веры.

Непутевого сына
ждала обратно
мама Вера...
И просила в письмах
писать только правду
мама Вера...
Я —
сын Веры!
Веры не в бога,
не в ангелов,
не в загробные штуки!

Я —
сын веры в солнце,
которое хлещет
сквозь рваные тучи!
Я —
сын веры в труд человека.
В цветы на земле обгорелой.
Я —
сын веры!
Веры в молчанье
под пыткой!
И в песню перед расстрелом!
Я —
сын веры в земную любовь,

ослепительную, как чудо.
Я —
сын веры в Завтра —
такое,
какое хочу я!
И в людей,
как дорога, широких!
Откровенных.
Стоящих...
Я —
сын Веры,
презираю хлюпиков!
Ненавижу плаксивых и стонущих!..
Я пишу тебе правду,
мама Вера,
Пишу только правду...
Дел — по горло!
Прости,
я не скоро
вернусь обратно.

ТВОРЧЕСТВО

Эрнсту Неизвестному

Как оживает камень?
Он сначала
не хочет верить
в правоту резца...
Но постепенно
из сплошного чада
плывет лицо.
Верней —
подобие лица.
Оно ничье.
Оно еще безгласно.
Оно еще почти не наяву.
Оно еще
безропотно согласно
принадлежать любому существу.
Ребенку,
женщине,
герою,
старцу...

Так оживает камень.
Он —
в пути.
Лишь одного не хочет он:
остаться
таким, как был.
И дальше не идти...
Но вот уже
с мгновением великим
решимость Человека сплетена.
Но вот уже
грудным, просящим криком
вся мастерская
до краев полна:
«Скорей!
Скорей, художник!
Что ж ты медлишь?
Ты не имеешь права
не спешить!
Ты дашь мне жизнь!
Ты должен.
Ты сумеешь.
Я жить хочу!
Я начинаю
жить.
Поверь в меня светло и одержимо.

Узнай!
Как почку майскую, раскрой.
Узнай меня!
Чтоб по гранитным жилам
пошла
толчками
каменная кровь...
Поверь в меня!..
Высокая,
живая,
по скошенной щеке
течет слеза...
Смотри!
Скорей смотри!
Я открываю
печальные
гранитные глаза.
Смотри:
я жду взаправдашнего ветра.
В меня уже вошла
твоя весна!..»
А человек,
который создал
это,
стоит и курит около окна.

* * *

Люблю картины старых мастеров.
Не верю я
в разгадку их секретов.
На нас,
как будто из иных миров,
глубокие глаза
глядят с портретов.
Художник, —
то ликуя, то скорбя, —
неведомо зачем
холсты марает...
А я смотрю, как в самого себя.
А я смотрю, и сердце замирает.
Великих красок чистая игра —
как исповедь,
как солнце над горами.
Идут века,
но эти
мастера

совсем не зря зовутся
мастерами.
И голос их то нежен, то суров.
Он различим
в любой лавине звуков.
Люблю картины старых мастеров —
ровесников детей моих
и внуков.

* * *

Говорила мама:
«Сынок,
уймись!
Чего тебе всё
неймется?..»
Говорила мама:
«Делом займись...
Когда ж ты это
делом
займешься?..»

Дело мое, дело —
маета моя.
Мой восторг.
Мое любопытство.
Давняя усталость.
И крепкая шлея.
Торжество мое.
Моя пытка.

Может быть, и вправду
резона
нет
выводить
корявые буковки.
Может, где-то рук моих
дожидается нефть
с краю
от читательской публики.
Пусть бы
где-нибудь у серьезной реки
бригадир
бровастый, как демон,
по ранжиру выстроя
крутые матюги,
учил бы меня
заниматься делом.

Это — не кокетство.
Совсем не то.
Не буду я
ни для кого обузой...
Но уже проверил:
никогда и ни за что
дело мое
меня не отпустит.

Знаю,
куда бы меня ни занесло —
встанет на пути
неизменно
дело мое, дело.
Мое ремесло.
Радостная
высшая мера.

Но когда порою предзаревой
никчемными
кажутся слова,
я тихо усмехаюсь.
Качаю головой.
И думаю,
что мама была
права.

У БУКИНИСТА

Парень волнуется:
— Это безумье!
Ты поступаешь
бесстыдно и нагло!
Если бы это была инкунабула,
я бы, конечно, не спорил о сумме...
Все это
издано-переиздано.
Переработано.
Перетасовано...
Что же
в твоем переплете
особого?
Вечные прописи...
Старые истины... —
А букинист
очки поправляет.
И, —
покачав головою седою, —

вечную истину
гладит ладонью.
Цену
с улыбкой
набавляет.

* * *

Савве Бродскому

Я богат.
Повезло мне и родом,
                и племенем.
У меня есть
Арбат.
И немножко свободного времени...
Я
подамся
от бумажных
                запутанных ворохов
в государство
переулков,
                проспектов
                и двориков.
Все, что я растерял,
отыщу в мельтешении радужном.
Где витой канделябр

и бетонные глыбины —
рядышком.
Где гитары
щекочут невест,
где тепло от варений малиновых.
Где колясок
на каждый подъезд
десять —
детских
и две —
инвалидных.
Там, где будничны
тополя
перед спящими школами.
Там, где булькают,
как вскипевшие чайники,
голуби.
Выхожу не хвалить,
не командовать
уличной вьюгою.
Просто так
улыбаться
и плыть
по Арбату
седеющим юнгою.

* * *

Нахохлятся тяжелые колосья
по всей земле,
размякшей и огромной.
Потом настанет осень.
Хлынет осень,
сиреневым морозом
травы тронув.
И длинный дождь,
с три короба наплакав,
лесную чащу с головой накроет,
разлапистые листья покоробит.

Опавшие,
в оранжевых накрапах,
они цветным пластом на землю лягут
и будут глухо чавкать под ногами.
И вспоминать
о светлом птичьем гаме,
о месяце грибов и спелых ягод.

И медленное солнце будет таять.
И незаметно
удлинится время.
И в сотый раз
я не смогу представить,
как выглядят
июньские деревья.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

В природе это действо так рождалось:
сначала небо в стороны раздалось.
Оно раздвинулось неотвратимо
и место для грозы
освободило.
Померкло солнце.
Птицы не взлетали.
Захлопали калитки, двери, ставни.
Все было зыбким.
Все тревожным было.

А туча на глазах себя лепила
из ничего!
Из призрачного света.
Из узловатого слепого ветра.
Из сумеречной тени над болотцем,
из темноты,
укрывшейся в колодце,

из мглы,
из пыли черной и летучей —
всё в дело шло!
Все становилось тучей,
которая торжественно жирела,
клубилась,
разбухала,
тяжелела.
Бурчала что-то, душу распаляя...
Повисла
над домами и полями.
Уперлась в землю.
Горизонт прогнула...
И первой молнией
весь мир
перечеркнула!

* * *

Т. Салахову

То белым по синему —
чайкой по небу,
то синим по белому —
тенью по снегу,
на горных отрогах,
на кочках болота
профессионально
рисует природа.
У осени —
ясной и рано пришедшей —
берет она
обыкновенные листья
и так их раскрашивает
сумасшедше,
что стонут от зависти
колористы!..
Рисует природа.
Она не устала.

На кручах
земного
летящего шара
ей нравится
соединять беспрестанно
манеры и стили,
сюжеты и жанры.
То вдруг распахнет
горизонты громадно,
а то
все масштабы
переиначит
и кисточкой,
сотканной из тумана,
тропинку вдоль речки
едва обозначит...
Природа рисует
легко и упруго.
Ей хочется жить!
Ей менять
интересно
увядшую живопись
летнего луга
на четкую графику
зимнего леса.